

* * *

Но исходив тропу забытую,
изведав боль, изведав ласку,
мы возвращаемся в закрытую
для посторонних взглядов сказку,

где за плетеными портьерами
переплелись любовь и мука,
где недоверием проверены
сомненья кавалера Глюка,

где только самое случайное
является самим собой
в счастливых словосочетаниях,
оправданных самой судьбой.

* * *

Качаясь и шурша,
мохнатый и раскосый,
снег падал на поля,
деревни и покосы.
Крутящийся, живой,
он вздрогивал тревожно
над ледяной межой,
забитой в лес, как в ножны.
Он падал полный день,
мечтая отогреться –
нечаянная тень
отчаянного детства.
Он все запорошил,
но все казалось – мало!
Он звезды потушил
от Хону до Арала

Потом он стал чужим
и очень-очень редким,
как едкие стихи,
как шашечные клетки.
Но под плащом дорог
земля заледенела
и снег уже не мог
царапать ее тело.
И не хватило сил
мир утопить в сугробах.
Светало. Ветер бил
снежинки на дорогах.

* * *

Прокричали журавли,
в облаках растаяли,
а в лесах пустых легли лужи
светлой стаю.

А потом пришла зима,
ясная невинница,
вьюга снегом занесла
города провинции.

Намела седых холмов и ушла, умелая,
от тревожащих костров
в снегопады белые.

Снег валил опять-опять белыми
бумажками,
нам пришлось тропинки мять
валенками тяжкими.

От сосны к другой сосне,
 через тени мутные,
пробирались мы к весне,
 в земли многолюдные.

Ни совета. Ни вестей. Мерзли
 под деревьями.
Но, наивные, зиме так и не поверили.

* * *
Как тебе аукнется,
так ему откликнется.
Как тебе покажется,
так ему увидится.

Звезды.
Ночь.
Сумятица.
Ветер. Поздний час.

Горы не сдвигаются,
губы не стираются -
недостаток нежности
убивает нас.

* * *
Промолчит лес,
 промолчит снег,
 промолчит грусть.
Не дойдет весть,
 пропадет след,
 будет лес пуст.
Будут снег, наст,
 звездопад глаз,
 белый дым из труб.
У тебя гостят,
 у тебя грустят
 и хотят губ.

По лесам снег,
 по глазам снег,
 снегопад рад.
Потеряв след,
 берега рек
 сберегут клад.
Тебе всё простят,
 тебя все простят,
 и - меня прости.
У тебя гостят,
 у тебя грустят,
 мир в твой горсти.

* * *
Холод трогает суставы
и кружится голова,
а на стеклах прорастает
непонятная трава.

Но реальней всех растений
и сумятицы в крови
моментальные, как тени,
руки тонкие твои.

Пусть в глухой неразберихе
нужный жест не оценён,
за окном бело и тихо,
там пушной аукцион.

Там следят паркет истертый
башмаки смещенных лиц,
а в канавах тонут гордо
отраженья нищих птиц.

Там стареют почтальоны,
телеграммы разнося,
восседает ночь на троне,
фонарей лучи гася.

Там почти неуловима
разница: минута... век...
Но оттуда твое имя
нашептал мне белый снег.

* * *
Я много лет скитался
в kraю сухих белил,
обламывая пальцы,
тропу свою торил,
и там, где низкий берег,
под шапкою лесов,
стрелял пушистых белок,
и грелся у костров.

Единственный хозяин,
закон тайги я знал:
ловушек зря не ставил
и зверя уважал,
но снег ложился густо,
стелил тропу мою,
и было пусто-пусто,
и грустно, как в райо.

Лебеди

B. Астафьеву

Я видел, как утром,
над серым болотом,
кочкарником,
марью,
оставив исслеженный
красными лапами берег,
сентябрьскую тишину распугав
и привстив над водою,
одна за другой поднимались
красивые птицы.

Тяжёлые птицы,
красивые птицы –
обрывками пены,
обломками льдов,
голубым опереньем,
счастливым и белым,
они восходили над марью,
над тёмным болотом,
а мы оставались, лишённые
крыльев и пенья.

Когда-нибудь в поле,
а может, в машине,
а может, на водах
ударит по сердцу то ль страх,
то ль провиденье смерти.
Так что же мы вспомним?
Любовь?
Удивленье?
Удача?

Высокое небо? Иль птиц,
рассекающих небо?

Ах, кто это знает? И кто это
может увидеть?
Пески осветились и канули
в тёмную воду.
А лебеди машут,
и машут,
и машут крылами,
и их отраженья, сияя, плывут
над болотом.

Слово

И опять надо мною, исторгая тепло,
удивленное Слово, как Солнце,
взошло.

То же самое, коим мы веками живем,
обещаем и поим, изумляем и жжем.

И которому слишком доверяться
спешим,
забывая про искры и клубящийся дым.

А оно – не подкова, не туман идиом.
Не забудьте, что Слово дал Охотник
с Копьем,

на века его сделав для Войны и Добра
вместе с первою Евой
из мужского ребра.

Возвращение

Наследник Гумилева и Ахматовой,
в лесу, где тропы выбиты сохатыми,
под крышей деревянного сарая
лежал я, ничего не понимая.

Махорочные струи, извиваясь,
в небритую щеку меня лизали,
и плавали, густые и бесшумные,
как плавают меж сосен тени лунные.

«Тяни, братишка!» – требовали
плотники,
друзья мои, герои и колодники,
все видевшие, знавшие, умевшие
и за год мне до смерти надоевшие.

Я пил малину с водкой, и, отчаясь,
все это запивал грузинским чаем,
и хлеб жевал с привычным
отвращением, –
о, только бы приблизить возвращенье!

Как долго от тебя ни слов, ни писем!
Как подло мне сквозняк тебя
расписывал!

Как нудно шелестели снегопады,
свершая свои мутные обряды!

Я засыпал с дымящей сигаретой,
и в сны мои врывался темный ветер,
злорадствовал: теперь не отыгратся,
не дотянуться, не коснуться пальцев,
губами на ночь перечтя ресницы,
когда тебе задумчиво не спится.

Но хуже, было хуже, когда жалость
в ночные сны непрошено являлась,
юродствовала, плакала, просила:
«Осина умирает некрасиво,
раскинув растопыренные лапы,
дрожа и задыхаясь на лету;
ты хочешь повторить ее паденье? –
мне жаль тебя. Решайся. Из деревни
к друзьям, к стихам, и к ждущей
иль не ждущей,
решайся, и тебя я уведу!»

...а за окном дробились и кололись
розеточки мерцающих снежинок,
и стыли на заборах злые пятна
замерзшей человеческой мочи.

Над речкой, окруженной,
будто глетчер,
моренами берез и стылых кедров,
бесшумными каскадами струился,
синел и испарялся лунный свет.

В его глубоких ласковых разводах
мелькали тени – призрачно,
прозрачно –
и так же непонятно исчезали,
чтоб снова появиться над рекой.

Над лесом поднималась крыша школы,
в которой ничему нас не научат,
но в окнах школы билось злое пламя –
впервые посмотреть на этот мир.

Под вечер дымкой покрывало снежной
дома, дороги; уходя на берег,
я видел камни, между ними билась
и клокотала черная вода.

Криноидей сияющие сколы
песчаник светло-серый испещряли,
как буквы, те, что ты не нашептала, –
они остались в камне навсегда.

Я вырвался.
Но что теперь мне надо?
Улыбку? Шепот? Ласковые руки?
Иль вечное терзание работы?
Иль просто...

Отцу

Я не выкажу горечь, в себе сберегу,
засмеяться, увидев тебя, постараюсь.
Твою лодку спасти я уже не могу,
увлекая, несёт её тёмная старость.

Пузырится поверхность
холодной воды.
Вот всплывают видения первых
морозов,
вот видения боли и первой беды,
вот туман, цвет которого
странен и розов.

Всё уходит, захваченный –
вёсел не взял! –
ты, ещё не отчаясь, плывёшь
по течению.
Мир огромен и смутен,
как дымный вокзал,
переполненный гамом, движением,
тенью.

Я ещё различаю твой голос. Он глух.
Мы во многом уже непонятны
друг другу.
Ты не веришь словам, тем, что сказаны
вслух,
и мы оба, пока что, не верим в разлуку.

Дни идут. Я считаю их, как на бегу.
И смеюсь, и, прощаясь,
скрываю тревогу.
Твою лодку спасти я уже не могу,
но я выстрогал весла –
продолжить дорогу.

* * *

Мой тополевый Томск –
томительная пристань,
текущая, как воск,
бегущая, как выстрел.

На площадях твоих
я плыл, как на триреме,
среди дождей густых,
остановивших время.

И за твою печаль,
за тайные вечери,
спасибо, мой причал,
скрипучие качели.

Спасибо за метель,
за то, что гнал по свету,
за руки тополей,
салютовавших свету.

* * *

О, эта деревня стоила всех чудес! –
лампа в окне, сугроб, в ночь –
коромысло дыма.

Прямо в дворы вбегал мшелый
и вечный лес.

Летом – печаль дождя,
осенью – запах тмина.

О, эта деревня стоила детских лет! –
тайны замшелых троп,
гомон глухих речушек.
сколько имен, о которых не ведал свет,
сколько снегов, вылетающих,
как из пушек!

Годы идут, но там
лампа горит, маня,
ищет меня, зовет, теплится из потемок.
Может быть, до сих пор женщина
ждет меня,
но броду нет на реке,
а лед над теченьем
тонок.

* * *

О, я без вас
схожу с ума!
Моя судьба -
моя сумма.
Но все, что есть
в моей суме,
принадлежит
уже не мне.
Я прихожу
и говорю:
«Я пригожусь,
пока горю,
я пригожусь,
пока горяч!»
А вы опять
втишайший плач.
О, этот плач,
ваш женский плач!

Я был царем,
а стал палач.
И холод слов моих, что нож,
и правды в нас – на мелкий грош.
Но этот грош в такой цене!
Не разменять
ни вам,
ни мне.

* * *

Будет время, и березы
вспыхнут желтою листвой
над раскрашенной морозом
полосой береговой,
и к стволу прижавшись ухом,
ты услышишь, как Луна
шепчет ласково и глохо
прямо в ночь.

А ночь нежна.

Будет время, и на поле,
где горит, дымя, ботва,
прорастут глухие колья,
распустившись, как трава,
и навзрыд пойдут осины
голосить, что так влажна
эта осень под гусиным
косяком.

А ночь нежна.

Будет время, и над взрывом
веток, листьев и травы
ты не спрашивайся с порывом
сумасшедшей головы.
И не плакать. Не смеяться.
только слушать. Тишина.
И губами вновь касаться
глаз как звезд.
А ночь нежна.

* * *

Женщины,
которых мы покидаем внезапно,
совсем внезапно, не по своей вине,
остаются не в прошлом,
а в некоем странном завтра,
как портрет, что выставлен
за стеклом в окне.

Города,
которые мы оставляем сразу,
именно сразу, мучаясь и себя кляня,

остаются всегда тоской
и вечной заразой,
в бездне грохота и огня.

И чего удивляться, что осень красит
за окнами небо, бесцельно и зло маня.
Остается лишь память,
и позолота слазит
с женщин и с городов,
но, прежде всего,
с меня.

Иркутск: выставка японской живописи

Темный ветер. Злая мгла.
Иероглифы на флаге,
отблеск лунного стекла.

Сто прекрасных видов Эдо
не заменят никогда сей игры теней
и света.

Бодхисатва Манжуши –
он глядит, Будда грядущий,
не извне, а изнутри.

Ощущение вины
перед медленным течением
потрясенной тишины.

Потеряю? Сберегу?
Что там выше? Чайный домик?
На каком он берегу?

Кто там стынет на пороге?
Отчего тебя мне жаль,
кутизанка Ханаоги?

Бронза - век мой золотой...

И опять мороз по коже:
этот век, конечно, твой,
не забудь, и мой он тоже!

Художник

Художник, написавший дивный лик
своей жены, давно с женой развелся.
Он странствовал, искал, любил,
боролся.

Ему под сорок,
он уже старик.

Всего достигнув, он живет в глухи.
Забыты надоевшие тирады
о вечном нетерпении души.
Он просто добр, и этому все рады.

Он бродит по дорожкам.
Дрогнет лист –
он восхищен.
Он слушает, как птица
поет и плачет.
Хочется молиться
тому, что мир и трепетен, и чист.

И все-таки бывает, что рука
вдруг ноет, ноет, тянется то к листьям,
то к лужам (в них проходят облака),
то, обречено, к выброшенным кистям.
И сердце начинает замиратъ:
взять кисть, вернуть любовь
и наслажденье,
вернуть давно ушедшее виденье,
воскреснуть! –
и блаженно умирать.

Но он молчит.
Он все узнал давно.
Не пламя в нем, а только трепетанье.
И все-таки томит его желанье –
Вновь женщину вернуть на полотно.

Как жаль, он написал ее давно.

* * *

Не надо музыки. Не надо!
Пусть лучше дождик моросят.
Туман. Строения. Ограда.
В окошке свет. Ребёнок спит.

Он тихо спит. Он сонно дышит.
Блаженно и легко сопит.
Мне скажут: «Так давно не пишут».
А я скажу: «Ребёнок спит».

Дети индиго

Над большой рекой по краю
снег ложится невесом.
Мне опять приснился сон:

я опять тебя теряю
по дороге в ад иль к раю.

Не грусти и не сердись:
всюду будущее скрыто.
Времена палеолита
вновь просеяны, как жизнь,
через каменное сито.

Ты бессмертна для меня,
будто тундровая травка.
Ты – моя Большая Правка,
ты – Дыхание Огня,
Сорок Пятая Поправка.

Сколько лет еще скользить
нам по зеркалу удачи?
Я не знаю. Небо плачет.
Начинает с неба лить.
Ничего не отменить.

Мы с тобой разделены
дыром, временем, пространством.
С неизменным постоянством
я твержу тебе – живи
в светлом Храме-на-Любви.

Мы же созданы – как меч
и сияющие ножны.
Мы с тобою непреложны,
нас уже не устеречь,
наши действия не ложны.

Ветер. Бьющийся платок.
Кто детей индиго судит?
Ты любима – как никто!
Ты любима – как никто!
А других уже не будет.

Размышляя о будущем стихотворении

Ещё там будет деревянный мостик...
Высокий узкий деревянный мостик...
Не эта ржавь. Не топкое болото.
Кому в болоте пропадать охота?
Там будет мостик. Небольшой,
но мостик.
Как радуга. И лишь под ним – болото.

Ещё там будет лёгкое паренье,
туманное, как слезы удивленья.

Не лихорадка мучившей болезни,
не отзвук долгой недопетой песни,
а нежное туманное паренье.

Ещё там будет...
Брось перечисленья! –
себе шепчу. Оставь перечисленья!
Кому нужны обглоданные кости?
Ведь если напишу стихотворенье,
в нём будет только нежное паренье,
а сквозь паренье, или даже пенье,
сквозь влажное сквозное удивленье –
все тот же узкий деревянный мостик...

Уроки ботаники

За тёмным окном – шевеленье травы,
сумятица, лепет,
ещё не случившейся первой любви
бессмысленный трепет.
Не надо к окну наклоняться, не на...
Но кто же удержит?
За тёмным окном шевелится трава,
и молния режет.

Уроки ботаники, запахи трав,
картина в музее.
Ты вечно в полёте, я вечно не прав,
как дождиком сеет.
Но это не важно: сегодня, вчера?
В Китае, в России?
Накатываются вечера,
каких не просили.

Уснёшь на траве, а проснёшься – уже
повсюду покосы.
Опёнок прилепится. Тонкая жердь.
То ль дождик. То ль росы.
Так странно, так сладостно, будто
умру,
упав среди степи,
не слыша осины на тихом юру
бессмысленный трепет.

Как сполохи что-то играет в душе,
как сполохи в небе.
Ты Анна на шее, ты Анна на ше...
Ты масло на хлебе.
Ты отзвук, которого нет. Не лови,
забудь этот лепет,
уже не случившейся первой любви
бессмысленный трепет.

Памяти поэта Макса Батурина

«Денежки кончились в наших
смешных кошечках». Палой листвой обнесло все
питейные точки.

Осень приблизилась, альфа нисходит
вомегу.
Если и быть, то всего лишь
печальному снегу.

Лагерный сад. Разрежённый туман.
Вод теченье.

Близость ворон. А воронки
как столоверченье.

Звук голосов. Отстают, отстают,
но смеются.
Явственно вижу, за нами следы
остаются.

Да, остаются. И вроде всего нам
хватает.
Этот ступает. И этот ступает.
И этот ступает.

Все где-то рядом. Никто не отстал.
Все ступают.
Прямо по листьям. И, странно,
следы оставляют.

«Денежки кончились в наших
смешных кошечках». Сказано все. Сведено к междометию,
к точке.

Времени – вечность. Энергии – бездна.
Пространства – хватает.
Вдруг оглянёшься, а чьих-то следов
не хватает.

Памяти Ю. М. Магалифа

Юрий Михайлович мне говорит:
«Водки, пожалуйста, Гена, налейте».
Тянет желудок, сердце болит,
в окнах не море, не Родос, не Крит,
окна распахнуты в палеолит.
А Пан играет на флейте.

Серый забор и «скворешник» над ним.

«Водочки, Гена, не пожалейте».
Чад переклички, лагерный дым,
нимб над колючкой – сияющий нимб.
«В лагере легче трубить молодым».
А Пан играет на флейте.

Юрий Михайлович жмурится: «Съем
Эту сосиску, а вы мне подлейте».
Жизнь коротка, перегружен модем,
бездна крутящихся в памяти тем,
дымный безбожный далекий Эдем.
А Пан играет на флейте.

* * *

Все, что угодно, приснится, а ты
даже не снишься, тебе не пристало.

Горечью пахнуточные цветы,
будто без этого горечи мало.

Долгая память. Глухое вино.
Что с нами было? И что с нами стало?

Горечью звёздное небо полно,
будто без этого горечи мало.

Снежное утро. Возвышенный лес.
Белые тени. Природа устала.

Снегом заносит эпоху чудес,
будто без этого горечи мало.

Масштаб

От древнего кургана
до гиблого болота;
от чайного стакана
до чаши с позолотой;
от томского забора
до стен горячей Кушки;
от Домского собора
до крошечной церквишки;
от розы искушения
до прозы из трактира;
от мироощущения
до ощущенья мира.